

Л.ЗАЧЕМ НУЖНО ЗНАТЬ БИОГРАФИЮ ПИСАТЕЛЯ?

Основные проблемы, возникающие при изучении биографии писателя:

1. Зачем нужно знать биографию писателя?

- один из способов познания творческой личности
- биография писателя – часть истории культуры
- для обычного человека это просто «интересно», так как помогает познакомиться с чужим жизненным опытом.

2. Чем отличается писатель как человек и как творец?

- в литературоведении различают понятия «Автор как лицо биографическое» и «автор как творец произведения». Например, сатирик М. Зощенко был в жизни мрачным и невротическим человеком, а «скучный» А. Чехов, автор «Ионыча» и других рассказов о жизни, в которой ничего не происходит, - был человеком жизнерадостным и деятельным. Потому нельзя проводить прямую параллель между событиями жизни писателя, чертами характера его как человека и тем, как отражается его внутренняя, глубоко скрытая от всех жизнь, в произведении.

3. Как строить биографию писателя?

- любая биография является «историей», потому факты жизни писателя выстраиваются в определенный сюжет, а не просто перечисляются.

-этот «сюжет» связан с представлениями биографа о том, к чему писатель пришел в итоге своей жизни, с современными представлениями о месте писателя в литературной иерархии (поэтому может быть много биографий одного и того же писателя).

- необходимо пониманием того, что такое личность, что такое личная жизнь и что такое история личной жизни.

Как писал Г.О. Винокур: «На основе такого понимания возникают книги с заглавиями, вроде “Пушкин в жизни”, “Живой Пушкин” и т. п., авторы которых, путем тщательного подбора относящегося сюда матерьяла из мемуаров, дневников и светской хроники, льстят себя надеждой воссоздать образ того, о ком они повествуют, “так, как он был в жизни”, почувствовать как бы “живое дыхание” его и личное воздействие. Исследователи этого рода заботливо выясняют, “курил ли Пушкин”, старательно расшифровывают разного рода интимные намеки в лирических излияниях и дон-жуанских списках, подводят счет выпитым бутылкам и проигранным состояниям, и чем же они в самом деле виноваты, если после всех этих усилий и несмотря на толстый свод самых доподлинных документов и “показаний современников”, их Пушкин выходит не Пушкин, а Ноздрев! Не ясно ли, что это и есть то самое “ничтожное дитя мира”, которое в антракте между двумя приношениями Аполлону сверхъестественным образом превращается из гениальности в забулдыгу и бонвивана». Потому он доказывал, что биограф должен показать историю душевной, личной жизни писателя, которая находится в постоянном движении. Об этом мы можем догадываться по внешним проявлениям (герой биографии появляется на свет, учится, путешествует, женится, воюет, пишет стихи или лепит статуи и т. п., и т. п.) и по поступкам, по проявлению человека в деятельности, хотя главный интерес – в биографии не внешней, а внутренней.

Подумайте также над такими вопросами:

Бывает ли писатель с биографией и писатель без биографии?

Может ли быть писатель интересен только биографией?

Может ли быть интересен писатель вообще без биографии?

Каковы границы биографии и до каких пределов мы можем погружаться в личную жизнь человека?

Что такое художественная биография?

Что такое научная биография?

Какие биографии писателей Вы читали

Главный вопрос – как связаны биография и творчество.

Вспомните рассказ Л.Н. Толстого «После бала». В чем «автобиографизм» рассказа?

ПОСЛЕ БАЛА РАССКАЗ

- Вот вы говорите, что человек не может сам по себе понять, что хорошо, что дурно, что все дело в среде, что среда заедает. А я думаю, что все дело в случае. Я вот про себя скажу.

Так заговорил всеми уважаемый Иван Васильевич после разговора, шедшего между нами, о том, что для личного совершенствования необходимо прежде изменить условия, среди которых живут люди. Никто, собственно, не говорил, что нельзя самому понять, что хорошо, что дурно, но у Ивана Васильевича была такая манера отвечать на свои собственные, возникающие вследствие разговора мысли и по случаю этих мыслей рассказывать эпизоды из своей жизни. Часто он совершенно забывал повод, по которому он рассказывал, увлекаясь рассказом, тем более что рассказывал он очень искренно и правдиво.

Так он сделал и теперь.

- Я про себя скажу. Вся моя жизнь сложилась так, а не иначе, не от среды, а совсем от другого.

- От чего же? - спросили мы.

- Да это длинная история. Чтобы понять, надо много рассказывать.

- Вот вы и расскажите.

Иван Васильевич задумался, покачал головой.

- Да, - сказал он. - Вся жизнь переменялась от одной ночи, или скорее утра.

- Да что же было?

- А было то, что был я сильно влюблен. Влюблялся я много раз, но это была самая моя сильная любовь. Дело прошлое; у нее уже дочери замужем. Это была Б..., да, Варенька Б..., - Иван Васильевич назвал фамилию. - Она и в пятьдесят лет была замечательная красавица. Но в молодости, восемнадцати лет, была прелестна: высокая, стройная, грациозная и величественная, именно величественная. Держалась она всегда необыкновенно прямо, как будто не могла иначе, откинув немного назад голову, и это давало ей, с ее красотой и высоким ростом, несмотря на ее худобу, даже костлявость, какой-то царственный вид, который отпугивал бы от нее, если бы не ласковая, всегда веселая улыбка и рта, и прелестных, блестящих глаз, и всего ее милого, молодого существа.

- Каково Иван Васильевич расписывает.

- Да как ни расписывай, расписать нельзя так, чтобы вы поняли, какая она была. Но не в том дело: то, что я хочу рассказать, было в сороковых годах. Был я в то время студентом в провинциальном университете. Не знаю, хорошо ли это или дурно, но не было у нас в то время в нашем университете никаких кружков, никаких теорий, а были мы просто молоды и жили, как свойственно молодости: учились и веселились. Был я очень веселый и бойкий мальчик, да еще и богатый. Был у меня иноходец лихой, катался с гор с барышнями (коньки еще не были в моде), кутил с товарищами (в то время мы ничего, кроме шампанского, не пили; не было денег - ничего не пили, но не пили, как теперь, водку). Главное же мое удовольствие составляли вечера и балы. Танцевал я хорошо и был не безобразен.

- Ну, нечего скромничать, - перебила его одна из собеседниц. - Мы ведь знаем ваш еще дагерротипный портрет. Не то что не безобразен, а вы были красавец.

- Красавец так красавец, да не в том дело. А дело в том, что во время этой моей самой сильной любви к ней был я в последний день масленицы на бале у губернского предводителя, добродушного старичка, богача-хлебосола и камергера. Принимала такая же добродушная, как и он, жена его в бархатном плюсовом платье, в брильянтовой фероньерке на голове и с открытыми старыми, пухлыми, белыми плечами и грудью, как портреты Елизаветы Петровны, Бал был чудесный: зала прекрасная, с хорами, музыканты - знаменитые в то время крепостные помещика-любителя, буфет великолепный и разливанное море шампанского. Хоть я и охотник был до шампанского, но не пил, потому что без вина был пьян любовью, но зато танцевал до упаду - танцевал и кадрили, и вальсы, и польки, разумеется, насколько возможно было, всё с Варенькой. Она была в белом платье с розовым поясом и в белых лайковых перчатках, немного не доходивших

до худых, острых локтей, и в белых атласных башимачках. Мазурку отбили у меня: препротивный инженер Анисимов - я до сих пор не могу простить это ему - пригласил ее, только что она вошла, а я заезжал к парикмахеру и за перчатками и опоздал. Так что мазурку я танцевал не с ней, а с одной немочкой, за которой я немножко ухаживал прежде. Но, боюсь, в этот вечер был очень неучтив с ней, не смотрел на нее, а видел только высокую стройную фигуру в белом платье с розовым поясом, ее сияющее, зарумянившееся с ямочками лицо и ласковые, милые глаза. Не я один, все смотрели на нее и любовались ею, любовались и мужчины, и женщины, несмотря на то, что она затмила их всех. Нельзя было не любоваться.

По закону, так сказать, мазурку я танцевал не с нею, но в действительности танцевал я почти все время с ней. Она, не смущаясь, через всю залу шла прямо ко мне, и я вскакивал, не дожидаясь приглашения, и она улыбкой благодарила меня за мою догадливость. Когда нас подводили к ней и она не угадывала моего качества, она, подавая руку не мне, пожимала худыми плечами и, в знак сожаления и утешения, улыбалась мне. Когда делали фигуры мазурки вальсом, я подолгу вальсировал с нею, и она, часто дыша, улыбалась и говорила мне: «Епсоре» 1. И я вальсировал еще и еще и не чувствовал своего тела.

- Ну, как же не чувствовали, я думаю, очень чувствовали, когда обнимали ее за талию, не только свое, но и ее тело, - сказал один из гостей.

Иван Васильевич вдруг покраснел и сердито закричал почти:

- Да, вот это вы, нынешняя молодежь. Вы, кроме тела, ничего не видите. В наше время было не так. Чем сильнее я был влюблен, тем бестелеснее становилась для меня она. Вы теперь видите ноги, щиколки и еще что-то, вы раздеваете женщин, в которых влюблены, для меня же, как говорил Alphonse Karr 2, хороший был писатель, - на предмете моей любви были всегда бронзовые одежды. Мы не то что раздевали, а старались прикрыть наготу, как добрый сын Ноя. Ну, да вы не поймете...

- Не слушайте его. Дальше что? - сказал один из нас.

- Да. Так вот танцевал я больше с нею и не видал, как прошло время. Музыканты уж с каким-то отчаянием усталости, знаете, как бывает в конце бала, подхватывали все тот же мотив мазурки, из гостиных поднялись уже от карточных столов папаши и мамыши, ожидая ужина, лакеи чаще забегали, пронося что-то. Был третий час. Надо было пользоваться последними минутами. Я еще раз выбрал ее, и мы в сотый раз прошли вдоль залы.

- Так после ужина кадрили вы? - сказала я ей, отводя ее к месту.

- Разумеется, если меня не увезут, - сказала она, улыбаясь.

- Я не дам, - сказал я.

- Дайте же веер, - сказала она.

- Жалко отдавать, - сказал я, подавая ей белый дешевенький веер.

- Так вот вам, чтоб вы не жалели, - сказала она, оторвала перышко от веера и дала мне.

Я взял перышко и только взглядом мог выразить весь свой восторг и благодарность. Я был не только весел и доволен, я был счастлив, блажен, я был добр, я был не я, а какое-то неземное существо, не знающее зла и способное на одно добро. Я спрятал перышко в перчатку и стоял, не в силах отойти от нее.

- Смотрите, папа просят танцевать, - сказала она мне, указывая на высокую статную фигуру ее отца, полковника с серебряными эполетами, стоявшего в дверях с хозяйкой и другими дамами.

- Варенька, подите сюда, - услышали мы громкий голос хозяйки в брильянтовой фероньерке и с елисаветинскими плечами.

Варенька подошла к двери, и я за ней.

- Уговорите, та chère 3, отца пройтись с вами. Ну, пожалуйста, Петр Владиславич, - обратилась хозяйка к полковнику.

Отец Вареньки был очень красивый, статный, высокий и свежий старик. Лицо у него было очень румяное, с белыми à la Nicolas I 4 подвитыми усами, белыми же, подведенными к усам бакенбардами и с зачесанными вперед височками, и та же ласковая, радостная улыбка, как и у дочери, была в его блестящих глазах и губах. Сложен он был прекрасно, с широкой, небогато

украшенной орденами, выпячивающейся по-военному грудью, с сильными плечами и длинными стройными ногами. Он был воинский начальник типа старого служаки николаевской выправки.

Когда мы подошли к дверям, полковник отказывался, говоря, что он разучился танцевать, но все-таки, улыбаясь, закинув на левую сторону руку, вынул шпагу из портупеи, отдал ее услужливому молодому человеку и, натянув замшевую перчатку на правую руку, - «надо всё по закону», - улыбаясь, сказал он, взял руку дочери и стал в четверть оборота, выжидая такт.

Дождавшись начала мазурочного мотива, он бойко топнул одной ногой, выкинул другую, и высокая, грузная фигура его то тихо и плавно, то шумно и бурно, с топотом подошв и ноги об ногу, задвигалась вокруг залы. Грациозная фигура Вареньки плыла около него, незаметно, вовремя укорачивая или удлиняя шаги своих маленьких белых атласных ножек. Вся зала следила за каждым движением пары. Я же не только любовался, но с восторженным умилением смотрел на них. Особенно умилили меня его сапоги, обтянутые штрипками, - хорошие опойковые сапоги, но не модные, с острыми, а старинные, с четверугольными носками и без каблуков. Очевидно, сапоги были построены батальонным сапожником. «Чтобы вывозить и одевать любимую дочь, он не покупает модных сапог, а носит домодельные», - думал я, и эти четверугольные носки сапог особенно умиляли меня. Видно было, что он когда-то танцевал прекрасно, но теперь был грузен, и ноги уже не были достаточно упруги для всех тех красивых и быстрых па, которые он старался выделывать. Но он все-таки ловко прошел два круга. Когда же он, быстро расставив ноги, опять соединил их и, хотя и несколько тяжело, упал на одно колено, а она, улыбаясь и поправляя юбку, которую он зацепил, плавно прошла вокруг него, все громко зааплодировали. С некоторым усилием приподнявшись, он нежно, мило обхватил дочь руками за уши и, поцеловав в лоб, подвел ее ко мне, думая, что я танцую с ней. Я сказал, что не я ее кавалер.

- Ну, все равно, пройдитеесь теперь вы с ней, - сказал он, ласково улыбаясь и вдевая шпагу в портупею.

Как бывает, что вслед за одной вылившейся из бутылки каплей содержимое ее выливается большими струями, так и в моей душе любовь к Вареньке освободила всю скрытую в моей душе способность любви. Я обнимал в то время весь мир своей любовью. Я любил и хозяйку в фероньерке, с ее елисаветинским бюстом, и ее мужа, и ее гостей, и ее лакеев, и даже дувшегося на меня инженера Анисимова. К отцу же ее, с его домашними сапогами и ласковой, похожей на нее, улыбкой, я испытывал в то время какое-то восторженно-нежное чувство.

Мазурка кончилась, хозяева просили гостей к ужину, но полковник Б. отказался, сказав, что ему надо завтра рано вставать, и простился с хозяевами. Я было испугался, что и ее увезут, но она осталась с матерью.

После ужина я танцевал с нею обещанную кадрили, и, несмотря на то, что был, казалось, бесконечно счастлив, счастье мое все росло и росло. Мы ничего не говорили о любви. Я не спрашивал ни ее, ни себя даже о том, любит ли она меня. Мне достаточно было того, что я любил ее. И я боялся только одного, чтобы что-нибудь не испортило моего счастья.

Когда я приехал домой, разделся и подумал о сне, я увидел, что это совершенно невозможно. У меня в руке было перышко от ее веера и целая ее перчатка, которую она дала мне, уезжая, когда садилась в карету и я подсаживал ее мать и потом ее. Я смотрел на эти вещи и, не закрывая глаз, видел ее перед собой то в ту минуту, когда она, выбирая из двух кавалеров, угадывает мое качество, и слышу ее милый голос, когда говорит: «Гордость? да?» - и радостно подает мне руку или когда за ужином пригубливает бокал шампанского и исподлобья смотрит на меня ласкающими глазами. Но больше всего я вижу ее в паре с отцом, когда она плавно двигается около него и с гордостью и радостью и за себя и за него взглядывает на любующихся зрителей. И я невольно соединяю его и ее в одном нежном, умиленном чувстве.

Жили мы тогда одни с покойным братом. Брат и вообще не любил света и не ездил на балы, теперь же готовился к кандидатскому экзамену и вел самую правильную жизнь. Он спал. Я посмотрел на его уткнутую в подушку и закрытую до половины фланелевым одеялом голову, и мне стало любовно жалко его, жалко за то, что он не знал и не разделял того счастья, которое я испытывал. Крепостной наш лакей Петруша встретил меня со свечой и хотел помочь мне раздеваться, но я отпустил его. Вид его заспанного лица с спутанными волосами показался мне

умилительно трогательным. Стараясь не шуметь, я на цыпочках прошел в свою комнату и сел на постель. Нет, я был слишком счастлив, я не мог спать. Притом мне жарко было в натопленных комнатах, и я, не снимая мундира, потихоньку вышел в переднюю, надел шинель, отворил наружную дверь и вышел на улицу.

С бала я уехал в пятом часу, пока доехал домой, посидел дома, прошло еще часа два, так что, когда я вышел, уже было светло. Была самая масляничная погода, был туман, насыщенный водою снег таял на дорогах, и со всех крыши капало. Жили Б. тогда на конце города, подле большого поля, на одном конце которого было гулянье, а на другом - девический институт. Я прошел наш пустынный переулок и вышел на большую улицу, где стали встречаться и пешеходы, и ломовые с дровами на санях, достававших полозьями до мостовой. И лошади, равномерно покачивающиеся под глянцевитыми дугами мокрыми головами, и покрытые рогожками извозчики, шлепавшие в огромных сапогах подле возов, и дома улицы, казавшиеся в тумане очень высокими, - все было мне особенно мило и значительно.

Когда я вышел на поле, где был их дом, я увидел в конце его, по направлению гулянья, что-то большое, черное и услышал доносившиеся оттуда звуки флейты и барабана. В душе у меня все время пело и изредка слышался мотив мазурки. Но это была какая-то другая, жесткая, нехорошая музыка.

«Что это такое?» - подумал я и по проезженной посередине поля скользкой дороге пошел по направлению звуков. Пройдя шагов сто, я из-за тумана стал различать много черных людей. Очевидно, солдаты. «Верно, ученье», - подумал я и вместе с кузнецом в засаленном полушубке и фартуке, несшим что-то и шедшим передо мной, подошел ближе. Солдаты в черных мундирах стояли двумя рядами друг против друга, держа ружья к ноге, и не двигались. Позади их стояли барабанищик и флейщик и не переставая повторяли всё ту же неприятную, визгливую мелодию.

- Что это они делают? - спросил я у кузнеца, остановившегося рядом со мною.

- Татарина гоняют за побег, - сердито сказал кузнец, взглядывая в дальний конец рядов.

Я стал смотреть туда же и увидел посреди рядов что-то страшное, приближающееся ко мне. Приближающееся ко мне был оголенный по пояс человек, привязанный к ружьям двух солдат, которые вели его. Рядом с ним шел высокий военный в шинели и фуражке, фигура которого показалась мне знакомой. Дергаясь всем телом, шлепая ногами по талому снегу, наказываемый, под сыпавшимися с обеих сторон на него ударами, подвигался ко мне, то опрокидываясь назад - и тогда унтер-офицеры, ведшие его за ружья, толкали его вперед, то падая наперед - и тогда унтер-офицеры, удерживая его от падения, тянули его назад. И не отставая от него, шел твердой, подрагивающей походкой высокий военный. Это был ее отец, с своим румяным лицом и белыми усами и бакенбардами.

При каждом ударе наказываемый, как бы удивляясь, поворачивал сморщенное от страдания лицо в ту сторону, с которой падал удар, и, оскаливая белые зубы, повторял какие-то одни и те же слова. Только когда он был совсем близко, я расслышал эти слова. Он не говорил, а всхлипывал: «Братцы, помилосердуйте. Братцы, помилосердуйте». Но братцы не милосердовали, и, когда шествие совсем поравнялось со мною, я видел, как стоявший против меня солдат решительно выступил шаг вперед и, со свистом взмахнув палкой, сильно шлепнул его по спине татарина. Татарин дернулся вперед, но унтер-офицеры удержали его, и такой же удар упал на него с другой стороны, и опять с этой, и опять с той. Полковник шел подле, и, поглядывая то себе под ноги, то на наказываемого, втягивал в себя воздух, раздувая щеки, и медленно выпускал его через оттопыренную губу. Когда шествие миновало то место, где я стоял, я мельком увидел между рядов спину наказываемого. Это было что-то такое пестрое, мокрое, красное, неестественное, что я не поверил, чтобы это было тело человека.

- О Господи, - проговорил подле меня кузнец.

Шествие стало удаляться, все так же падали с двух сторон удары на спотыкающегося, корчившегося человека, и все так же били барабаны и свистела флейта, и все так же твердым шагом двигалась высокая, статная фигура полковника рядом с наказываемым. Вдруг полковник остановился и быстро приблизился к одному из солдат.

- Я тебе помажу, - услышал я его гневный голос. - Будешь мазать? Будешь?

И я видел, как он своей сильной рукой в замшевой перчатке бил по лицу испуганного малорослого, слабосильного солдата за то, что он недостаточно сильно опустил свою палку на красную спину татарина.

- Подать свежих шпичрутенев! - крикнул он, оглядываясь, и увидел меня. Делая вид, что он не знает меня, он, грозно и злобно нахмурившись, поспешно отвернулся. Мне было до такой степени стыдно, что, не зная, куда смотреть, как будто я был уличен в самом постыдном поступке, я опустил глаза и поторопился уйти домой. Всю дорогу в ушах у меня то была барабанная дробь и свистела флейта, то слышались слова: «Братцы, помилосердуйте», то я слышал самоуверенный, гневный голос полковника, кричащего: «Будешь мазать? Будешь?» А между тем на сердце была почти физическая, доходившая до тошноты, тоска, такая, что я несколько раз останавливался, и мне казалось, что вот-вот меня вырвет всем тем ужасом, который вошел в меня от этого зрелища. Не помню, как я добрался домой и лег. Но только стал засыпать, услышал и увидел опять все и вскочил.

«Очевидно, он что-то знает такое, чего я не знаю, - думал я про полковника. - Если бы я знал то, что он знает, я бы понимал и то, что я видел, и это не мучило бы меня». Но сколько я ни думал, я не мог понять того, что знает полковник, и заснул только к вечеру, и то после того, как пошел к приятелю и напился с ним совсем пьян.

Что ж, вы думаете, что я тогда решил, что то, что я видел, было - дурное дело? Ничуть. «Если это делалось с такой уверенностью и признавалось всеми необходимым, то, стало быть, они знали что-то такое, чего я не знал», - думал я и старался узнать это. Но сколько ни старался - и потом не мог узнать этого. А не узнав, не мог поступить в военную службу, как хотел прежде, и не только не служил в военной, но нигде не служил и никуда, как видите, не годился.

- Ну, это мы знаем, как вы никуда не годились, - сказал один из нас. - Скажите лучше: сколько бы людей никуда не годились, кабы вас не было.

- Ну, это уж совсем глупости, - с искренней досадой сказал Иван Васильевич.

- Ну, а любовь что? - спросили мы.

- Любовь? Любовь с этого дня пошла на убыль. Когда она, как это часто бывало с ней, с улыбкой на лице, задумывалась, я сейчас же вспоминал полковника на площади, и мне становилось как-то неловко и неприятно, и я стал реже видаться с ней. И любовь так и сошла на нет. Так вот какие бывают дела и от чего переменяется и направляется вся жизнь человека. А вы говорите... - закончил он.

Подумайте, как связан этот рассказ с поисками и размышлениями Л. Толстого.

Для этого прочитайте фрагмент книги Е.Г. Бушканца о «Юность Льва Толстого. Казанские годы»

Четвертая глава «Юности» кончается упоминанием о намерении рассказчика написать себе на всю жизнь «расписание своих обязанностей и занятий, изложить на бумаге цель своей жизни и правила, по которым уже, не отступая, действовать». Вскоре у Николеньки Иртеньева появляется тетрадь с заглавием «Правила жизни».

Сам Лев Николаевич обратился к составлению правил, видимо, на втором курсе юридического факультета. В дневнике Толстого в 1854 году записано: «Что я такое? Один из четырех сыновей отставного подполковника, оставшихся с семилетнего возраста без родителей под опекой женщин и посторонних, не получивший ни светского, ни ученого образования и вышедший на волю семнадцати лет, без большого состояния, без всякого общественного положения, и, главное, без правил...».

Один из первых набросков, дошедших до нас, содержал правила: «Пренебрегать богатствами, почестями и общественным мнением, не основанным на рассудке»; «Устремлять свое внимание только на такие предметы, которые требуют размышления»; «Не пропускать ни одной мысли, не записав и не развив ее в свое время»; «Думать при всяком деянии о цели оною»; «Только в случае необходимости предпринимать другое дело, не окончив одного» и др.

10 февраля 1847 года была начата тетрадь на 6 листах с заглавием «Правила жизни». Второй и третий лист содержали классификацию будущих правил. Толстой предполагал разделить их на правила в отношении к Богу, правила в отношении к людям и правила в отношении к самому себе. Но четвертый и последующий листы тетради остались чистыми. Возможно, что именно эту тетрадь вспомнил Лев Николаевич, когда писал в «Юности»: «Я взял шесть листов бумаги, сшил тетрадь и написал сверху: «Правила жизни»...» Заглавие вышло криво и неровно. И герой повести задает себе печальный вопрос: «Зачем все так прекрасно, ясно у меня на душе, и так безобразно выходит на бумаге и вообще в жизни, когда я хочу применять к ней что-нибудь из того, что думаю?»».

16 марта 1847 года Лев Николаевич начинает новую тетрадь на двадцати листах. Она начиналась рассуждением о том, что «правила в отношении к самому себе» должны развить волю и умственные способности. Толстой выделял три этапа развития воли и соответственно делил правила на три группы: «правила для развития воли телесной», «правила для развития воли чувственной», «правила для развития воли разумной». В тетради часть правил (42) пронумерована, другая записана без нумерации. Правила очень различны по характеру. Рядом с правилом тридцать седьмым - «Старайся дать уму своему как можно больше пищи», пронумерованным – «Имей цель для всей жизни, цель для известной эпохи своей жизни, цель для известного времени, цель для года, для месяца, для недели, для дня, для часу и для минуты...», записаны и такие – «Спи как можно меньше» и ««Будь верен своему слову»».

В набросках второй, ненаписанной части «Юности» рассказчик еще раз обращался к работе над правилами. Он вспоминает, что основание его юношеской философии состояло в том, что человек состоит из тела, чувств, разума и воли. Поэтому сформулированные правила разделялись на «правила: 1. Для развития воли умственной, 2. Воли чувственной, 3. Воли телесной. Каждое из этих разделений подразделялось еще на: а. правила в отношении к Богу, в. к самому себе, с. к ближнему». «Просматривая теперь эту серую, криво исписанную тетрадь правил, - продолжает рассказчик, - я нахожу в ней забавно-наивные и глупые вещи для шестнадцатилетнего мальчика; например, там есть правило: не лги никогда, ибо этим, ежели и выиграешь на время во мнении людей, потеряешь потом; или в правилах для развития воли умственной: занимаясь каким-нибудь делом, устремляй на него все свои силы. Но в душе своей я нахожу вместе с тем трогательное воспоминание о том радостном чувстве, с которым я открывал и записывал эти правила. Мне казалось, что теперь уж, когда правила записаны, я всегда буду соотносываться с ними...».

Стремясь к самоусовершенствованию, к развитию собственных способностей, Лев Николаевич начинает вести дневник, который вел, с небольшими перерывами, всю жизнь. В Полном собрании сочинений дневник занимает тринадцать томов большого формата. Первая запись была сделана 17 марта 1847 года. «Я никогда не имел дневника, потому что не видел никакой пользы от него. Теперь же, когда занимаюсь развитием собственных способностей, по дневнику я буду в состоянии судить о ходе этого развития, - записывает он уже через три недели, 7 апреля. - В дневнике должна находиться таблица правил, и в дневнике должны быть тоже определены мои будущие деяния». На следующий день, 8 апреля, Толстой записывает: «Хотя я уже много приобрел с тех пор, как начал заниматься собою, однако еще все я весьма недоволен собою. Чем далее подвигаешься в усовершенствовании самого себя, тем более видишь в себе недостатков...».

Дневниковые записи пронизывает недовольство собой. «Я много переменялся; но все еще не достиг той степени совершенства (в занятиях), которого бы мне хотелось достигнуть. Я не исполняю того, что себе предписываю; что исполняю, то исполняю не хорошо, не изошряю памяти». И далее снова правила: «Для этого пишу здесь некоторые правила, которые, как мне кажется, много мне помогут, ежели я буду им следовать. 1) Что назначено непременно исполнить, то исполняй, несмотря ни на что. 2) Что исполняешь, исполняй хорошо. 3) Никогда не справляйся в книге, ежели что-нибудь забыл, а старайся сам исполнить. 4) Заставь постоянно ум свой действовать со всею ему возможною силой. 5) Читай и думай всегда громко. 6) Не стыдись говорить людям, которые тебе мешают, что они мешают; сначала дай почувствовать, а если он не понимает, то извинись и скажи ему это».

Заболев, Лев Николаевич на некоторое время оказался в университетской клинике. «Отделись человек от общества, взойди он сам в себя, - записывает он в клинике, - и как скоро скинет с него рассудок очки, которые показывали ему все в превратном виде, и как уяснится взгляд его на вещи, так даже непонятно будет ему, как не видал он всего того прежде». Очки оказались сброшенными, открылся новый взгляд на все окружающее. Впрочем, этот взгляд формировался задолго до этого. «Вот уже шесть дней, как я поступил в клинику. И это пустое обстоятельство дало мне толчок, от которого я стал на ту ступень, на которую уже давно поставил ногу, но не мог перевалить туловище».

Суть этого взгляда – видеть мир не таким, каким он кажется окружающим, быть независимым от той светской молодежи, в кругу которой он вращался. «Я ясно усмотрел, что беспорядочная жизнь, которую большая часть светских людей принимает за следствие молодости, есть не что иное, как следствие раннего разврата души». Путеводителем в предстоящей жизни Толстой выбирает разум. «Оставь действовать разум, он даст тебе правила, с которыми смело иди в общество. Все, что сообразно с первенствующею способностью человека – разумом, будет сообразно со всем, что существует...».

Но первые же дни, проведенные после клиники дома, вызывают у Льва Николаевича чувство глубокого неудовлетворения. «Я вел себя не так, как бы желал вести себя», - записывает он в дневнике. Что же было причиной этого? «Общество, - отвечает он, - с которым я стал иметь больше сношения».

С нравственными исканиями весны 1847 года непосредственно связана проблематика рассказа «После бала».

В 1903 году, когда Толстой напряженно работал над воспоминаниями, им был написан рассказ «Дочь и отец». Это название вскоре было изменено на «А вы говорите», а затем - на «После бала». Окончательной отделки рассказ не получил и был напечатан только после смерти Льва Николаевича.

Долгое время считалось, что в основе рассказа эпизод из жизни самого Льва Николаевича. Однако после появления в печати воспоминаний Х.Н.Абрикосова эта точка зрения подверглась некоторому уточнению. Сюжет рассказа «После бала», сообщил Абрикосов, взят писателем из жизни его брата Сергея Николаевича. «Варенька Б., описанная в рассказе, была Хвоцинская, замечательная красавица, в которую, будучи студентом в Казани, Сергей Николаевич был влюблен. Весь эпизод, описанный в этом рассказе, вполне биографичен. Сергей Николаевич, после того, как видел то участие в экзекуции над солдатом, которое принимал отец той, в которую он был влюблен, охладил к своей любви». Кроме того, Толстой в 1910 году вспоминал, отвечая на вопрос, с ним ли произошли события, рассказанные в «После бала», «что студентом бывал на балах. Экзекуции в его время бывали, но он на них не присутствовал.

-Своими глазами не видели?

Л.Н.: Нет, бог миловал».

Действительно, то, что сообщал о себе рассказчик, напоминает скорее Сергея Николаевича, чем будущего писателя. «— Был я очень веселый и бойкий малый, да еще и богатый. Был у меня иноходец лихой, катался с гор с барышнями (коньки еще не были в моде), кутил с товарищами... Главное же мое удовольствие составляли вечера и балы. Танцевал я хорошо и был не безобразен.

- Ну, нечего скромничать, - перебила его одна из собеседниц. – Мы ведь знаем ваш еще дагерротипный портрет. Не то, что безобразен, а вы были красавец.

- Красавец, так красавец, не в этом дело...»

Молодого Льва Николаевича красавцем отнюдь никто не считал. Да и вечера и балы никогда не составляли для него главного удовольствия. Загоскин, опираясь на воспоминания казанских старожилов, писал, что Лев Толстой в молодости был некрасив, широкоплеч, неуклюж, с короткими щетинистыми волосами. «Отсюда легко объяснится и постоянная погоня Льва Николаевича за «комильфотностью», которой от него требовали, и его напускная холодность, и его кажущаяся надменность, черты, странным образом соединявшиеся в нем с застенчивостью, которую многие принимали за стремление к недоступности. Всем этим обуславливался, конечно, и тот ореол *загадочности*, о котором говорят все знавшие Толстого в его студенческие годы», а

один из сверстников Толстого по университету характеризовал его так: «Бирюк, которого все мы звали не иначе, как философом и Левушкой, неуклюжий и постоянно стесняющийся».

Что касается брата рассказчика («Жили мы тогда одни с покойным братом. Брат и вообще не любил свет и не ездил на балы, теперь же готовился к кандидатскому экзамену и вел самую правильную жизнь»), то в нем узнаются черты Дмитрия Николаевича.

Действие рассказа происходит в сороковых годах. Рассказчик сообщает о себе, что в то время он был «студентом в провинциальном университете». В том же университете учился и его брат. Кандидатские экзамены, это следует пояснить современному читателю, - тогда сдавались при окончании университета и ничего общего с современными экзаменами, предшествующими защите кандидатской диссертации, не имели.

Варвара Андреевна Корейша (вышедшая впоследствии замуж за тульского дворянина Н.Д.Хвоцинского) была дочерью начальника казанского гарнизонного батальона подполковника Андрея Петровича Корейши. Она считалась одной из признанных красавиц в местном светском обществе. В рассказе за героиней сохранено ее имя – Варенька. «Варенька была не из богатого семейства, - говорилось в первоначальном варианте рассказа, - она была дочерью полковника, воинского начальника гарнизона. Мать ее была совсем вульгарная женщина. Но их везде приглашали и по положению отца – для губернии и воинский начальник гарнизона лицо, - а, главное, за неоспоримую, признаваемую всеми прелесть дочери, украшавшей всякий бал».

А.П.Корейша, действительно ведал широко бытовавшими в николаевское царствование зверскими истязаниями, когда наказуемого прогоняли «сквозь строй». По свидетельству А.И.Ильинского, наблюдавшего однажды такое наказание, полковник Корейша «превзошел строгость закона», он «постоянно побуждал исполнявших экзекуцию солдат бить преступников сильнее». Документально известно несколько случаев зверских расправ Корейши над наказуемыми. В 1846 году прогоняя «сквозь строй» он засек до смерти «разбойников» Быкова и Чайкина – крепостных крестьян, бежавших от помещиков и устраивавших нападения на помещичьи усадьбы. Лев Николаевич не мог не знать о такого рода изуверствах – «сквозь строй» прогоняли на Арском поле, почти под окнами Института благородных девиц, недалеко от дома Киселевских, в котором братья Толстые жили у тетки в 1843-1846 гг. Кстати, рядом жил и сам полковник. Его дом находился на том месте, где сейчас главное здание Технологического университета. В тексте рассказа сохранилась и эта деталь: полковник живет «на конце города подле большого поля, на одном конце которого было гуляние, а на другом девичий институт». Точно воспроизведен и путь, по которому рано утром идет рассказчик. Чтобы из последней квартиры Толстых попасть к Арскому полю, нужно было выйти на маленькую улочку (современную ул. Япеева) и пройти до конца по улице, которая сейчас носит имя К.Маркса. «Я прошел наш пустынный переулок, - говорится в рассказе, - и вышел на большую улицу, где стали встречаться и пешеходы, и ломовые с дровами на санях, достававших полозьями до мостовой... Когда я вышел в поле, где был их дом, я увидел в конце его, по направлению гуляния, что-то большое, черное и услышал доносившиеся оттуда звуки флейты и барабана. В душе у меня все время пело и изредка слышался мотив мазурки. Но это была какая-то другая, жесткая, нехорошая музыка».

Полковник Корейша запомнился Льву Николаевичу на всю жизнь. «Во всякое прошедшее время было то, что люди последующего времени вспоминают не только с ужасом, но и с недоумением, - говорил он в написанной в 1886 году статье «Николай Палкин». – Правежи, сжигание за ереси, пытки, военные поселения, палки и гоняния сквозь строй... Что было в душе того человека, который вставал с постели, умывшись, одевшись в боярскую одежду, помолившись богу, шел в застенок выворачивать суставы и бить кнутом /.../? Что было в душе тех полковых и ротных командиров: я знал одного такого, который накануне с красавицей дочерью танцевал мазурку на балу и уезжал раньше, чтобы на завтра рано утром распорядиться прогонянием на смерть сквозь строй бежавшего солдата татарина, засекал этого солдата до смерти и возвращался обедать в семью».

В рассказе подчеркнуто сходство полковника с Николаем I. Он не просто старый служака николаевской выправки, он внешне напоминает царя, даже усы у него – a la Nicolas I! Но, создавая

рассказ, Толстой меньше всего стремился ответить на вопрос о том, что же происходило в душах полковых и ротных командиров эпохи николаевского царствования.

Писателя волновало: может ли человек «сам по себе понять, что хорошо, что дурно».

В этом плане, - независимо от того, кто из братьев был влюблен в Вареньку Корейшу, кто из них оказался свидетелем страшной сцены на Арском поле, - рассказ глубоко автобиографичен. Именно к весне 1847 года Лев Николаевич больше задумывается над необходимостью «самому понять, что хорошо, что дурно», можно ли освободиться от влияния окружающей среды, можно ли заниматься «личным усовершенствованием» прежде чем изменились «условия, среди которых живут люди».

В первоначальном варианте, как бы в ответ на мысль о том, что «надо самому понять, что нравственно, а что безнравственно», рассказчик спрашивал: «А как понять это мальчику, когда он видит вокруг себя дурное, а люди все это дурное считают хорошим?» И в заключение: «Что ж вы думаете, что я решил, что полковник изверг, что то, что я видел, было преступление. Ничуть. Правда, любовь моя, т.е. та прелесть, поэзия любви, которую я испытал в этот вечер, кончилась. Я не мог теперь не видеть в ней, в ее этой ласкающей улыбке, того, что я видел в ее отце, на площади. Но я не смел, не мог решить, что то, что я видел, было дурно. Это было ужасно, но если оно делалось, значит, оно было необходимо... Надо было понять это и подчиниться этому. И я не мог ни того, ни другого, но и не мог решить, что это дурно».

В последнем варианте текста рассуждения рассказчика звучат так: «Что ж думаете, что я тогда решил, что то, что видел – было дурное дело? Ничуть. Если это делалось с такой уверенностью и признавалось всеми необходимым, то, стало быть, они знали что-то такое, чего я не знал, - думал я и старался узнать этого. Но сколько ни старался – и потом не мог узнать этого...» Вместе с тем здесь впервые появляется мысль о том, что от таких событий «переменяется и направляется вся жизнь человека».